

Литрес ≡ Классика

Михаил Салтыков-Щедрин

# ПРЕМУДРЫЙ ПИСКАРЬ И ДРУГИЕ СКАЗКИ



Михаил Салтыков-Щедрин

**Премудрый пискарь  
и другие сказки**

«ЛитРес»

1883

**Салтыков-Щедрин М. Е.**

Премудрый пискарь и другие сказки / М. Е. Салтыков-Щедрин —  
«ЛитРес», 1883

© Салтыков-Щедрин М. Е., 1883

© ЛитРес, 1883

## Содержание

Баран-непомнящий	6
Бедный волк	10
Богатырь	14
Верный Трезор	16
Ворон-челобитчик	20
Конец ознакомительного фрагмента.	24

**Михаил Салтыков-Щедрин**  
**Премудрый пискарь и другие сказки**  
© Литрес Классика, 2026

## Баран-непомнящий

*Домашние бараны с незапамятных времен живут в порабощении у человека; их настоящие родоначальники неизвестны.*

*Брэм*



Были ли когда-нибудь домашние бараны «вольными» – история об этом умалчивает. В самой глубокой древности патриархи уже обладали стадами прирученных баранов, и затем, через все века, баран проходит распространенным по всему лицу земли в качестве животного, как бы нарочито на потребу человека созданного. Человек, в свою очередь, создает целые особые породы баранов, почти не имеющие между собою ничего общего. Одних воспитывают для мяса, других – для сала, третьих – ради теплых овчин, четвертых – ради обильной и мягкой волны.

Сами домашние бараны, конечно, всего меньше о вольном прародителе своем помнят, а просто знают себя принадлежащими к той породе, в которой застал их момент рождения. Этот момент составляет исходную точку личной бараньей истории, но даже и он постепенно тускнеет, по мере вступления барана в зрелый возраст. Так что истинно мудрым называется

только тот баран, который ничего не помнит и не сознает, кроме травы, сена и месятки, предлагаемых ему в пищу.

Однако грех да беда на кого не живет. Спал однажды некоторый баран и увидел сон. Должно быть, не одну месятку во сне видел, потому что проснулся тревожный и долго глазами чего-то искал.

Стал он припоминать, что такое случилось; но, хоть убей, ничего вспомнить не мог. Даль какая-то, серебряным светом подернутая, и больше ничего. Только смутное ощущение этой бесформенной серебряной дали и осталось в нем, но никакого определенного очертания, ни одного живого образа...

– Овца! а, овца! что я такое во сне видел? – спросил он лежащую рядом овцу, которая, яко воистину овца, отроду снов не видала.

– Спи, выдумщик! – сердито отвечала овца, – не для того тебя из-за моря привезли, чтоб сны видеть да модника из себя представлять!

Баран был породистый английский меринос. Помещик Иван Созонтыч Растаковский шальные деньги за него заплатил и великие на него надежды возлагал. Но, конечно, не для того он его из-за моря вывез, чтоб от него поколение *умных* баранов пошло, а для того, чтоб он создал для своего хозяина стадо тонкорунных овец.

И в первое время по приезде его на место баран действительно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Ни о чем он не рассуждал, ничем не интересовался, даже не понимал, куда и зачем его привезли, а просто-напросто жил да поживал. Что же касается до вопроса о том, что такое баран и какие его права и обязанности, то баран не только никаких пропаганд по этому предмету не распространял, но едва ли даже подозревал, что подобные вопросы могут бараньи головы волновать. Ноэто-то именно и помогало ему выполнять баранье дело настолько пунктуально и добросовестно, что Иван Созонтыч и сам нарадоваться на него не мог, и соседей любоваться водил: «Смотрите!»

И вдруг этот сон... Что это был за сон, баран решительно не мог сообразить. Он чувствовал только, что в существование его вторглось нечто необычное, какая-то тревога, тоска. И хлев у него, по-видимому, тот же, и корм тот же, и то же стадо овец, предоставленное ему для усовершенствования, а ему ни до чего как будто бы дела нет. Бродит он по хлеву, как потерянный, и только и дела блеёт:

– Что такое я во сне видел? растолкуйте мне, что такое я видел?

Но овцы не выказывали ни малейшего сочувствия к его тревогам и даже не без ядовитости называли его умником и филозофом, что, как известно, на овечьем языке имеет значение худшее, нежели «моветон».

С тех пор, как он начал сны видеть, овцы с горечью вспоминали о простом, шлёнской породы, баране, который перед тем четыре года сряду ими помыкал, но под конец, за выслугу лет, был определен на кухню и там без вести пропал (видели только, как его из кухни на блюде, с триумфом, в господский дом пронесли). То-то был настоящий служилый баран! Никогда никаких снов он не видел, никаких тревог не ощущал, а делал свое дело по точному разуму бараньего устава – и больше ничего знать не хотел. И что же! его, старого и испытанного слугу, уволили, а на его место определили какого-то празднюльщика, мечтателя, который с утра до вечера неведомо о чем блеёт, а они, овцы, между тем ходят яловы!

– Совсем нас этот аглецкой олух не совершенствует! – жаловались овцы овчару Никите, – как бы нам за него, за фифана, перед Иваном Созонтычем в ответе не быть?

– Успокойтесь, милые! – обнадежил их Никита, – завтра мы его выстрижем, а потом крапивою высечем – шелковый будет!

Однако расчеты Никиты не оправдались. Барана выстригли, высекли, а он в ту же ночь опять сон увидел.

С этих пор сны не покидали его. Не успеет он ноги под себя подогнуть, как дрема уже сторожит его, не разбирая, день или ночь на дворе.

И как только он закроет глаза, то весь словно преобразится, и лицо у него словно не баранье делается, а серьезное, строгое, как у старого, благомысленного мужичка из тех, что в старинные годы «министрами» называли. Так что всякий, кто ни пройдет мимо, непременно скажет: «Не на скотном дворе этому барану место – ему бы бурмистром следовало быть!»

Тем не менее, сколько он ни подстерегал себя, чтобы восстановить в памяти только что виденный сон, усилия его по-прежнему оставались напрасными.

Он помнил, что во сне перед ним проходили живые образы и даже целые картины, созерцание которых приводило его в восторженное состояние; но как только бодрственное состояние возвращалось, и образы и картины исчезали неведомо куда, и он опять становился заурядным бараном. Вся разница заключалась лишь в том, что прежде он бодро шел навстречу своему бараньему делу, а теперь ходил ошеломленный, чего-то, сдуру, искал, а чего именно – сам себе объяснить не мог... Баран, да еще меланхолик – что, кроме ножа, может ожидать его в будущем?!

Но, кроме перспективы ножа, положение барана и само по себе было мучительно. Нет боли горшей, нежели та, которую приносят за собой бессильные порывания от тьмы к свету встревоженной бессознательности. Пристигнутое внезапной жадой бесформенных чаяний, бедное, подавленное существо мечется и изнемогает, не умея определить ни характера этих чаяний, ни источника их. Оно чувствует, что сердце его объято пламенем, и не знает, ради чего это пламя зажглось; оно смутно чует, что мир не оканчивается стенами хлева, что за этими стенами открываются светлые, радужные перспективы, и не умеет наметить даже признаки этих перспектив; оно предчувствует свет, простор, свободу – и не может дать ответа на вопрос, что такое свет, простор, свобода...

По мере учащения снов, волнение барана все больше и больше росло. Ниоткуда не видел он ни сочувствия, ни ответа. Овцы с испугу жались друг к другу при его приближении; овчар Никита хотя, по-видимому, и знал нечто, но упорно молчал. Это был умный мужик, который до тонкости проник баранье дело и признавал для баранов только одну обязательную аксиому.

– Коли ты в бараньем сословии уродился, – говорил он солидно, – в ём, значит, и живи!

Но именно этого-то баран и не мог выполнить. Именно «сословие»-то его и мучило, не потому, что ему худо было жить, а потому, что с тех пор, как он стал сны видеть, ему постоянно чужилось какое-то совсем другое «сословие».

Он не был в состоянии воспроизвести свои сны, но инстинкты его были настолько возбуждены, что, несмотря на неясность внутренней тревоги, поднявшейся в его существе, он уже не мог справиться с нею.

Тем не менее, с течением времени, тревоги его начали утихать, и он как будто даже остепенел. Но успокоение это не было последствием трезвого решения вступить на прежнюю баранью колею, а, напротив, скорее свидетельствовало об общем обессилении бараньего организма. Поэтому и пользы от него не вышло никакой.

Баран, – очевидно, с предвзятым намерением, – с утра до вечера спал, как будто искал обрести во сне те сладостные ощущения, в восстановлении которых отказывала ему бодрственная действительность...

В то же время он с каждым днем все больше и больше чах и хирел, и наконец сделался до того поразительно худ, что глупые овцы, завидев его, начинали чихать и насмешливо между собой перешептываться. И по мере того как неразгаданный недуг овладевал им, лицо его становилось осмысленнее и осмысленнее. Овчары все до единого жалели о нем. Все знали, что он честный и добрый баран, и что ежели он не оправдал хозяйских надежд, то не по своей вине, а единственно потому, что его постигло какое-то глубокое несчастье, вовсе баранам не

свойственное, но в то же время, – как многие инстинктивно догадывались, – делающее ему лично великую честь.

Сам Иван Созонтыч сочувственно относился к страданиям барана. Не раз овчар Никита намекал, что самая лучшая развязка в таком загадочном деле – нож, но Растаковский упорно отклонял это предложение.

– Плакали мои денежки, – говорил он, – но не затем я их платил, чтобы шкурой его воспользоваться. Пускай своей смертью умрет!

И вот вожделенный момент просияния наступил. Над полями мерцала теплая, облитая лунным светом, июньская ночь; тишина стояла кругом непробудная; не только люди притаились, но и вся природа как бы застыла в волшебном оцепенении.

В бараньем загоне все спало. Овцы, понутив головы, дремали около изгороди. Баран лежал одиноко, посередке загона. Вдруг он быстро и тревожно вскочил. Выпрямил ноги, вытянул шею, поднял голову кверху и всем телом дрогнул. В этом выжидающем положении, как бы прислушиваясь и всматриваясь, простоял он несколько минут, и затем сильное, потрясающее бляенье вырвалось из его груди...

Заслышав эти торжественно-агонизирующие звуки, овцы в испуге повскакали с своих мест и шарахнулись в сторону. Сторожевой пес тоже проснулся и с лаем бросился приводить в порядок всполошившееся стадо. Но баран уже не обращал внимания на происшедший переполох: он весь ушел в созерцание.

Перед тускнеющим его взором воочию развернулась сладостная тайна его снов...

Еще минута – и он дрогнул в последний раз. Засим ноги сами собой подогнулись под ним, и он мертвый рухнул на землю.

Иван Созонтыч был очень смертью его огорчен.

– И что за причина такая? – сетовал он вслух, – все был баран как баран, и вдруг словно его осетило... Никита! ты пятьдесят лет в овчарах состоишь, стало быть, должен дурью эту породу знать: скажи, отчего над ним такая беда стряслась?

– Стало быть, «вольного барана» во сне увидел, – ответил Никита, – увидеть-то во сне увидал, а сообразить настоящим манером не мог... Вот он сначала затосковал, а со временем и издох. Все равно, как из нашего брата бывает...

Но Иван Созонтыч от дальнейшего объяснения уклонился.

– Сие да послужит нам уроком! – похвалил он Никиту, – в другом месте из этого барана, может быть, козел бы вышел, а по нашему месту такое правило: ежели ты баран, так и оставайся бараном без дальних затей. И хозяину будет хорошо, и тебе хорошо, и государству приятно. И всего у тебя будет довольно: и травы, и сена, и месячки. И овцы к тебе будут ласковы... Так ли, Никита?

– Это так точно, Иван Созонтыч! – отозвался Никита.

## Бедный волк

Другой зверь, наверное, тронулся бы самоотверженностью зайца, не ограничился бы обещанием, а сейчас бы помиловал. Но из всех хищников, водящихся в умеренном и северном климатах, волк всего менее доступен великодушию.

Однако ж не по своей воле он так жесток, а потому, что комплекция у него каверзная: ничего он, кроме мясного, есть не может. А чтобы достать мясную пищу, он не может иначе поступать, как живое существо жизни лишить. Одним словом, обязывается учинить злодейство, разбой.

Не легко ему пропитание его достается. Смерть-то ведь никому не сладка, а он именно только со смертью ко всякому лезет. Поэтому кто посильнее – сам от него обороняется, а иного, который сам защититься не может, другие обороняют. Частенько-таки волк голодный ходит, да еще с помятыми боками вдобавок. Сядет он в ту пору, поднимет рыло кверху и так пронзительно воет, что на версту кругом у всякой живой твари, от страха да от тоски, душа в пятки уходит. А волчиха его еще тоскливее подвывает, потому что у нее волчата, а накормить их нечем.

Нет того зверя на свете, который не ненавидел бы волка, не проклинал бы его. Стоном стонет весь лес при его появлении: «Проклятый волк! убийца! душегуб!» И бежит он вперед да вперед, голову повернуть не смеет, а вдогонку ему: «Разбойник! живорез!» Уволок волк, с месяц тому назад, у бабы овцу – баба-то и о сю пору слез не осушила: «Проклятый волк! душегуб!» А у него с тех пор маковой росинки в пасти не было: овцу-то сожрал, а другую зарезать не пришлось... И баба воет, и он воет... как тут разберешь!

Говорят, что волк мужика обездоливает; да ведь и мужик тоже, как обозлится, куда лют бывает! И дубьем-то он его бьет, и из ружья в него палит, и волчьи ямы роет, и капканы ставит, и облавы на него устраивает. «Душегуб! разбойник! – только и раздается про волка в деревнях. – последнюю корову зарезал! остатнюю овцу уволок!» А чем он виноват, коли иначе ему прожить на свете нельзя?

И убьешь-то его, так проку от него нет. Мясо – негодное, шкура жесткая – не греет. Только и корысти-то, что вдоволь над ним, проклятым, натешись да на вилы живьем поднимешь: пускай, гадина, капля по капле кровью исходит!

Не может волк, не лишая живота, на свете прожить – вот в чем его беда! Но ведь он этого не понимает. Если его злодеем зовут, так ведь и он зовет злодеями тех, которые его преследуют, увечат, убивают. Разве он понимает, что своею жизнью другим жизням вред наносит? Он думает, что живет – только и всего. Лошадь – тяжести возит, корова – дает молоко, овца – волну, а он – разбойничает, убивает. И лошадь, и корова, и овца, и волк – все «живут», каждый по-своему.

И вот нашелся, однако ж, между волками один, который долгие веки все убивал да разбойничал и вдруг, под старость, догадываться начал, что есть в его жизни что-то неладное.

Жил этот волк смолоду очень шибко и был одним из немногих хищников, который почти никогда не голодал. И день, и ночь он разбойничал, и все ему с рук сходило. У пастухов из-под носу баранов утаскивал; во дворы по деревням забирался; коров резал; лесника однажды до смерти загрыз; мальчика маленького, у всех на глазах, с улицы в лес унес. Слышал он, что его за эти дела все ненавидят и клянут, да только лютей и лютей от этих покров становился.

– Послушали бы, что в лесу-то делается, – говорил он, – нет той минуты, чтоб там убийства не было, чтоб какая-нибудь зверюга не верещала, с жизнью расставаясь, – так неужто ж на это смотреть?

И дожил он таким родом, промежду разбоев, до тех лет, когда волк уж «матерым» называется. Отяжелел маленько, но разбой все-таки не оставил; напротив, словно бы даже полютел.

Только и попадись он нечаянно в лапы к медведю. А медведи волков не любят, потому что и на них волки шайками нападают, и частенько-таки слухи по лесу ходят, что там-то и там-то Михайле Иваныч оплошал: в клочки серые вороги шубу ему разорвали.

Держит медведь волка в лапах и думает: «Что мне с ним, с подлецом, делать? ежели съест – с души сопрёт, ежели так задавить да бросить – только лес запахом его падали заразишь. Дай, посмотрю: может быть, у него совесть есть. Коли есть совесть, да поклянется он вперед не разбойничать – я его отпущу».

– Волк, а волк! – молвил Топтыгин, – неужто у тебя совести нет?

– Ах, что вы, ваше степенство! – ответил волк, – разве можно хоть один день на свете без совести прожить!

– Стало быть, можно, коли ты живешь. Подумай: каждый божий день только и вестей про тебя, что ты или шкуру содрал, или зарезал – разве это на совесть похоже?

– Ваше степенство! позвольте вам доложить! должен ли я пить-есть, волчиху свою накормить, волчат воспитать? какую вы на этот счет резолюцию изволите положить?

Подумал-подумал Михайле Иваныч, – видит: коли положено волку на свете быть, стало быть, и прокормить он себя право имеет.

– Должен, – говорит.

– А ведь я, кроме мясного, – ни-ни! Вот хоть бы ваше степенство, к примеру, взять: вы и малинкой полакомитесь, и медком от пчел позаимствуетесь, и овсеца пососете, а для меня ничего этого хоть бы не было! Да опять же и другая вольгота у вашего степенства есть: зимой, как заляжете вы в берлогу, ничего вам, кроме собственной лапы, не требуется. А я и зиму, и лето – нет той минуты, чтобы я о пище не думал! И все об мясе. Так каким же родом я эту пищу добуду, коли прежде не зарежу или не задушю?

Задумался медведь над этими волчьими словами, однако все еще попытаться хочет.

– Да ты бы, – говорит, – хоть полегче, что ли...

– Я и то, ваше степенство, сколько могу, облегчаю. Лисица – та зудит: рванет раз – и отскочит, потом опять рванет – и опять отскочит... А я прямо за горло хватаю – шабаш!

Еще пуще задумался медведь. Видит, что волк ему правду-матку режет, а отпустить его все еще опасается: сейчас он опять за разбойные дела примется.

– Раскайся, волк! – говорит.

– Не в чем мне, ваше степенство, каяться. Никто своей жизни не ворог, и я в том числе; так в чем же тут моя вина?

– Да ты хоть пообещай!

– И обещать, ваше степенство, не могу. Вот лиса – та вам что хотите обещает, а я – не могу.

Что делать? Подумал, подумал медведь, да наконец и решил.

– Пренесчастнейший ты есть зверь – вот что я тебе скажу! – молвил он волку. – Не могу я тебя судить, хоть и знаю, что много беру на душу греха, отпуская тебя. Одно могу прибавить: на твоём месте я не только бы жизнью не дорожил, а за благо бы смерть для себя почитал! И ты над этими моими словами подумай!

И отпустил волка на все четыре стороны.

Освободился волк из медвежьих лап и сейчас опять за старое ремесло принялся. Стонет от него лес, да и шабаш. Повадился в одну и ту же деревню; в две, в три ночи целое стадо зря перерезал – и ништо ему. Заляжет с сытым брюхом в болоте, потягивается да глаза жмурит. Даже на медведя, своего благодетеля, войной пошел, да тот, по счастью, вовремя спохватился да только лапой ему издали погрозил.

Долго ли, коротко ли он так буйствовал, однако и к нему наконец старость пришла. Силы убавились, проворство пропало, да вдобавок мужичок ему спинной хребет поленом перешиб; хоть и отлежался он, а все-таки уж на прежнего удалыца-живореза не похож стал. Кинется

вдогонку за зайцем – а ног-то уж нет. Подойдет к лесной опушке, овечку из стада попробует унести – а собаки так и скачут-заливаются. Подождет он хвост да и бежит с пустом.

– Никак, я уж и собак бояться стал? – спрашивает он себя.

Воротится в логово и начнет выть. Сова в лесу рыдает, да он в болоте воет – страсти господни, какой поднимется в деревне переполох!

Только промыслил он однажды ягненочка и волочет его за шиворот в лес. А ягненочек-то самый еще несмысленочек был: волочет его волк, а он не понимает. Только одно твердит: «Что такое? что такое?..»

– А я вот покажу тебе, что такое... мммерррзавец! – остервенился волк.

– Дяденька! я в лес гулять не хочу! я к маме хочу! не буду я, дяденька, не буду! – вдруг догадался ягненочек и не то заблеял, не то зарыдал: – ах, пастушок, пастушок! ах, собачки! собачки!

Остановился волк и прислушивается. Много он на своем веку овец перерезал, и все они какие-то равнодушные были. Не успеет ее волк ухватить, а она уж и глаза зажмурила, лежит, не шелохнется, словно натуральную повинность исправляет. А вот и малыш – а поди как плачет: хочется ему жить! Ах, видно, и всем эта распостылая жизнь сладка! Вот и он, волк, – стар-стар, а все бы годков еще с сотенку пожил!

И припомнились ему тут слова Топтыгина: «На твоём бы месте я не жизнь, а смерть за благо для себя почитал...» Отчего так? Почему для всех других земных тварей жизнь – благо, а для него она – проклятие и позор?

И, не дождавшись ответа, выпустил из пасти ягненка, а сам побрел, опустив хвост, в логово, чтобы там на досуге умом раскинуть.

Но ничего ему этот ум не выяснил, кроме того, что он уж давно знал, а именно: что никак ему, волку, иначе прожить нельзя, как убийством и разбоем.

Лег он плашмя на землю и никак улежать не может. Ум – одно говорит, а нутро – чем-то другим загорается. Недуги, что ли, его ослабили, старость ли в разор разорила, голод ли измучил, только не может он прежней власти над собой взять. Так и гремит у него в ушах: «Проклятый! душегуб! живорез!» Что ж в том, что он за собой вольной вины не знает? ведь проклятий-то все-таки не заглушишь! Ох, видно, правду сказал медведь: только и остается, что руки на себя наложить!

Так ведь и тут опять горе: зверь – ведь он даже рук на себя наложить не умеет. Ничего сам собой зверь не может: ни порядка жизни изменить, ни умереть. Живет он, словно во сне, и умрет – словно во сне же. Может быть, его псы растерзают или мужик подстрелит; так и тут он только захрапит да корчей его на мгновенье сведет – и дух вон. А откуда и как пришла смерть – он и не догадается.

Вот разве голодом он себя изведет... Нынче он уж и за зайцами гоняться перестал, только около птиц ходит. Поймает молодую ворону или витютня – только этим и сыт. Так даже и тут прочие витютни хором кричат: «Проклятый! проклятый! проклятый!»

Именно проклятый. Ну, как-таки только затем жить, чтобы убивать и разбойничать? Положим, несправедливо его проклинаят, нерезонно: не своей волей он разбойничает, – но как не проклинать! Сколько он зверья на своем веку погубил! сколько баб, мужиков обездолил, на всю жизнь несчастными сделал!

Много лет он в этих мыслях промучился; только одно слово в ушах его и гремело: «Проклятый! проклятый! проклятый!» Да и сам себе он все чаще и чаще повторял: «Именно проклятый! проклятый и есть; душегуб, живорез!» И все-таки, мучимый голодом, шел на добычу, душил, рвал и терзал...

И начал он звать смерть. «Смерть! смерть! хоть бы ты освободила от меня зверей, мужиков и птиц! Хоть бы ты освободила меня от самого себя!» – день и ночь выл он, на небо гля-

дючи. А звери и мужики, слыша его вой, в страхе вопили: «Душегуб! душегуб! душегуб!» Даже небу пожаловаться он не мог без того, чтоб проклятья на него со всех сторон не сыпались.

Наконец смерть сжалилась-таки над ним. Появились в той местности «лукаши», и соседние помещики воспользовались их прибытием, чтоб устроить на волка охоту. Лежит однажды волк в своем логове и слышит – зовут. Он встал и пошел. Видит: впереди путь вехами отмечен, а сзади и сбоку мужики за ним следят. Но он уже не пытался прорваться, а шел, опустив голову, навстречу смерти...

И вдруг его ударило прямо между глаз. Вот она... смерть-избавительница!

## Богатырь

В некотором царстве Богатырь родился. Баба-яга его родила, вспоила, вскормила, выхолила, и когда он с коломенскую версту вырос, сама на покой в пустыню ушла, а его пустила на все четыре стороны: иди, Богатырь, совершай подвиги!

Разумеется, прежде всего Богатырь в лес ударился; видит, один дуб стоит – он его с корнем вырвал; видит, другой стоит – он его кулаком пополам перешиб; видит, третий стоит и в нем дупло – залез Богатырь в дупло и заснул.

Застонала мать зеленая дубравушка от храпов его перекастистых; побежали из лесу звери лютые, полетели птицы пернатые; сам леший так испугался, что взял в охапку лешачиху с лешачатами – и был таков.

Прошла слава про Богатыря по всей земле. И свои, и чужие, и други, и супостаты не надвоятся на него: свои боятся вообще потому, что ежели не бояться, то каким же образом жить? А сверх того, и надежда есть: беспрременно Богатырь для того в дупло залег, чтоб еще больше во сне сил набраться: «Вот ужо проснется наш Богатырь, и нас перед всем миром прославит». Чужие в свой черед опасаются: слышь, мол, какой стон по земле пошел – никак, в «оной» земле Богатырь родился! Как бы он нам звону не задал, когда проснется!

И все ходят кругом на цыпочках и шепотом повторяют: «Спи, Богатырь, спи!»

И вот прошло сто лет, потом двести, триста и вдруг целая тысяча. Улита ехала-ехала да, наконец, и приехала. Синица хвасталась-хвасталась да и в самом деле моря не зажгла. Варили-варили мужика, покуда всю сырость из него не выварили: ау, мужик!

Всё приделали, всё прикончили, друг дружку обворовали начисто – шабаш! А Богатырь все спит, все незрячими очами из дупла прямо на солнце глядит да перекастистые храпы кругом на сто верст пущает.

Долго глядели супостаты, долго думали: могущественна, должно быть, оная страна, в коей боятся Богатыря за то только, что он в дупле спит!

Однако стали помаленьку умом-разумом раскидывать; начали припоминать, сколько раз насылались на оную страну беды жестокие, и ни разу Богатырь не пришел на выручку людишкам.

В таком-то году людишки сами промеж себя звериным обычаем передрались и много народу зря погубили. Горько тужили в ту пору старики, горько зывали: «Приди, Богатырь, рассуди безвременье наше!» А он вместо того в дупле проспал. В таком-то году все поля солнцем выжгло да градом выбило: думали, придет Богатырь, мирских людей накормит, а он вместо того в дупле просидел. В таком-то году и города, и селенья огнем попалило, не стало у людишек ни крова, ни одежи, ни ежева; думали: вот придет Богатырь и мирскую нужду исправит – а он и тут в дупле проспал.

Словом сказать, всю тысячу лет оная страна всеми болями переболела, и ни разу Богатырь ни ухом не повел, ни оком не шевельнул, чтобы узнать, отчего земля кругом стоном стонет.

Что ж это за Богатырь такой?

Многострадальная и долготерпеливая была оная сторона и имела веру великую и неослабную. Плакала – и верила, вздыхала – и верила. Верила, что когда источник слез и вздыханий иссякнет, то Богатырь улучит минуту и спасет ее. И вот минута наступила, но не та, которую ждали обыватели. Поднялись супостаты и обступили страну, в коей Богатырь в дупле спал. И прямо все пошли на Богатыря. Сперва один к дуплу остороженько подступил – воняет; другой подошел – тоже воняет. «А ведь Богатырь-то гнилой!» – молвили супостаты и ринулись на страну.

Супостаты были жестоки и неумолимы. Они жгли и рубили все, что попадало навстречу, мстя за тот смешной вековой страх, который внушал им Богатырь. Заметались людишки, видя лихое безвременье, кинулись навстречу супостату – глядят, идти не с чем.

И вспомнили тут про Богатыря и в один голос возопили: «Поспешай, Богатырь, поспешай!»

Тогда совершилось чудо: Богатырь не шелохнулся. Как и тысячу лет тому назад, голова его неподвижно глядела незрячими глазами на солнце, но уже тех храпов могучих не выпускала, от которых некогда содрогалась мать зеленая дубравушка.

Подошел в ту пору к Богатырю дурак Иванушка, перешиб дупло кулаком – смотрит, а у Богатыря гадюки туловище вплоть до самой шеи отъели.

Спи, Богатырь, спи!

## Верный Трезор

– Служил Трезорка сторожем при лабазе московского 2-й гильдии купца Воротилова и недреманным оком хозяйское добро сторожил. Никогда от конуры не отлучался; даже Живо-дерки, на которой лабаз стоял, настоящим образом не видал; с утра до вечера так на цепи и скачет, так и заливаётся! Caveant consules!<sup>1</sup>

И премудрый был, никогда на своих не лалял, а все на чужих. Пройдет, бывало, хозяйский кучер овес воровать, – Трезорка хвостом машет, думает: много ли кучеру нужно! А случится прохожему по своему делу мимо двора идти – Трезорка еще где заслышит: ах, батюшки, воры!

Видел купец Воротилов Трезоркину услугу и говорил: «Цены этому псу нет!» И ежели случалось в лабаз мимо собачьей конуры проходить, непременно скажет: «Дайте Трезорке помоев!» А Трезорка из кожи от восторга лезет: «Рады стараться, ваше степенство!.. хам-ам! Почивайте, ваше степенство, спокойно... хам... ам... ам... ам!»

Однажды даже такой случай был: сам частный пристав к купцу Воротилову на двор пожаловал – так и на него Трезорка воззрился. Такой содом поднял, что и хозяин, и хозяйка, и дети – все выбежали. Думали, грабят; смотрят – ан гость дорогой!

– Вашескорodie! милости просим! Цыц, Трезорка! Ты это что, мерзавец? Не узнал? А? Вашескорodie, водочки! Закусить-с.

– Благодарю. Прекраснейший у вас пёсик, Никанор Семеныч! благонамеренный!

– Такой пес! такой пес! Другому человеку так не понять, как он понимает!

– Собственность, значит, признает; а это, по нынешнему времени, ах как приятно!

И затем, обернувшись к Трезорке, присовокупил:

– Лай, мой друг, лай! Нынче и человек, ежели который с отличной стороны себя зарекомендовать хочет, – и тот по-пёсьему лаять обязывается!

Три раза Воротилов Трезорку искушал, прежде чем вполне свое имущество доверил ему. Нарядился вором (удивительно, как к нему этот костюм шел!), выбрал ночь потемнее и пошел в амбар воровать. В первый раз корочку хлеба с собой взял, – думал этим его соблазнить, – а Трезорка корочку обнюхал да как вцепится ему в икру! Во второй раз целую колбасу Трезорке бросил: «Пиль, Трезорушка, пиль!» – а Трезорка ему фалду оторвал. В третий раз взял с собой рублевую бумажку замасленную – думал, на деньги пес пойдет; а Трезорка, не будь прост, такого трезвону поднял, что со всего квартала собаки сбежались: стоят да дивуются, с чего это хозяйский пес на своего хозяина заливаётся?

Тогда купец Воротилов собрал домочадцев и при всех сказал Трезорке:

– Препоручаю тебе, Трезорка, все мои потроха: и жену, и детей, и имущество – стереги! Принесите Трезорке помоев!

Понял ли Трезорка хозяйскую похвалу, или уж сам собой, в силу собачьей природы, лай из него, словно из пустой бочки, валил – только совсем он с тех пор иссобачился. Одним глазом спит, а другим глядит, не лезет ли кто в подворотню; скакать устанет – ляжет, а цепью все-таки погромыхивает: вот он я! Накормить его позабудут – он даже очень рад: ежели, дескать, каждый-то день пса кормить, так он, чего доброго, в одну неделю разопсеет! Пинками его челядинцы наделят – он и в этом полезное предостережение видит, потому что, ежели пса не бить, он и хозяина, того гляди, позабудет.

– Надо с нами, со псами, сурьезно поступать, – рассуждал он, – и за дело бей, и без дела бей – вперед наука! Тогда только мы, псы, настоящими псами будем!

Одним словом, был пес с принципами и так высоко держал свое знамя, что прочие псы поглядят-поглядят да и подожмут хвост – куды тебе!

<sup>1</sup> Пусть будут бдительны консулы! (лат.)

Уж на что Трезорка детей любил, однако и на их искушения не сдавался. Подойдут к нему хозяйские дети:

- Пойдем, Трезорушка, с нами гулять!
- Не могу.
- Не смеешь?
- Не то что не смею, а права не имею.
- Пойдем, глупый! мы тебя потихоньку... никто и не увидит!
- А совесть?

Подожмет Трезорка хвост и спрячется в конуру, от соблазна подальше.

Сколько раз и воры сговаривались: поднесемте Трезорке альбом с видами Замоскворечья; но он и на это не польстился.

– Не требуется мне никаких видов, сказал он, – на этом дворе я родился, на нем же и старые кости сложу – каких еще видов нужно! Уйдите до греха!

Одна за Трезоркой слабость была: Кутьку крепко любил, но и то не всегда, а временно.

Кутька на том же дворе жила и тоже была собака добрая, но только без принципов. Полает и перестанет. Поэтому ее на цепи не держали, а жила она больше при хозяйской кухне и около хозяйских детей вертелась. Много она на своем веку сладких кусков съела и никогда с Трезоркой не поделилась; но Трезорка нимало за это на нее не претендовал: на то она и дама, чтобы сладенько поесть! Но когда Кутькино сердце начинало говорить, то она потихоньку взвизгивала и скреблась лапой в кухонную дверь. Заслышав эти тихие всхлипыванья, Трезорка, с своей стороны, поднимал такой неистовый и, так сказать, характерный вой, что хозяин, понимая его значение, сам спешил на выручку своего имущества. Трезорку спускали с цепи и на место его сажали дворника Никиту. А Трезорка с Кутькой, взволнованные, счастливые, убегали к Серпуховским воротам.

В эти дни купец Воротилов делался зол, так что когда Трезорка возвращался утром из экскурсии, то хозяин бил его арапником нещадно. И Трезорка, очевидно, сознавал свою вину, потому что не подбегал к хозяину гоголем, как это делают исполнители свой долг чиновники, а униженно и поджавши хвост подползал к ногам его; и не выл от боли под ударами арапника, а потихоньку взвизгивал: *mea culpa! mea maxima culpa!*<sup>2</sup> В сущности он был слишком умен, чтобы не понимать, что, поступая таким образом, хозяин упускал из вида некоторые смягчающие обстоятельства; но в то же время, рассуждая логически, он приходил к заключению, что ежели его в таких случаях не бить, то непременно он разопсеет. Но что было особенно в Трезорке дорого, так это совершенное отсутствие честолюбия. Неизвестно, имел ли он даже понятие о праздниках и о том, что к праздникам купцы имеют обыкновение дарить верных своих слуг. Никаноры ли («сам» именинник), Анфисы ли («сама» именинница) на дворе – он, все равно что в будни, на цепи скачет!

– Да замолчи ты, постылый! – крикнет на него Анфиса Карповна. – Знаешь ли, какой сегодня день!

– Ничего, пусть лает! – пошутит в ответ Никанор Семеныч. – Это он с ангелом поздравляет! Лай, Трезорушка, лай!

Только раз в нем проснулось что-то вроде честолюбия – это когда бодливой хозяйской корове Рохле по требованию городского пастуха колокол на шею привесили. Признаться сказать, позавидовал-таки он, когда она пошла по двору звонить.

– Вот тебе счастье какое, а за что? – сказал он Рохле с горечью. – Только твоей и заслуги, что молока полведра в день из тебя надоят, а по-настоящему, какая же это заслуга! Молоко у тебя даровое, от тебя не зависящее: хорошо тебя кормят – ты много молока даешь; плохо кормят – и молоко перестанешь давать. Копыта об копыто ты не ударишь, чтоб хозяину заслу-

---

<sup>2</sup> Мои грех! мои тягчайший грех! (лат.) – формула раскаяния на исповеди, принятая у католиков.

жить, а вот тебя как награждают! А я вот сам от себя, *motu proprio*<sup>3</sup>, день и ночь маюсь, недоем, недосплю, инда осип от беспокойства, – а мне хоть бы гремушку кинули! Вот, дескать, Трезорка, знай, что услугу твою видят!

– А цепь-то? – нашлась Рохля в ответ. – Цепь?!

Тут только он понял. До тех пор он думал, что цепь есть цепь, а оказалось, что это нечто вроде как масонский знак<sup>4</sup>.

Что он, стало быть, награжден уже изначала, награжден еще в то время, когда ничего не заслужил. И что отныне ему следует только об одном мечтать: чтоб старую, проржавленную цепь (он ее однажды уже порвал) сняли и купили бы новую, крепкую.

А купец Воротилов точно подслушал его скромно-честолюбивое вождение: под самый Трезоркин праздник купил совсем новую, на диво выкованную цепь и сюрпризом приклепал ее к Трезоркину ошейнику. Лай, Трезорка, лай!

И залился он тем добродушным, залиvistым лаем, каким лают псы, не отделяющие своего собачьего благополучия от неприкосновенности амбара, к которому определила их хозяйская рука.

В общем, Трезорке жилось отлично, хотя, конечно, от времени до времени не обходилось и без огорчений. В мире псов, точно так же как и в мире людей, лесть, пронырство и зависть нередко играют роль, вовсе им по праву не принадлежащую. Не раз приходилось и Трезорке испытывать уколы зависти; но он был силен сознанием исполненного долга и ничего не боялся. И это вовсе не было с его стороны сомнением. Напротив, он первый готов был бы уступить честь и место любому новоявленному барбосу, который доказал бы свое первенство в деле непреоборимости. Нередко он даже с тревогою подумывал о том, кто заступит его место в ту минуту, когда старость или смерть положит предел его нестомчивости... Но увы! во всей громадной стае измелъчавших и излаявших псов, населявших Живодерку, он, по совести, не находил ни одного, на которого мог бы с уверенностью указать: вот мой преемник! Так что когда интрига задумала во что бы то ни стало уронить Трезорку в мнению купца Воротилова, то она достигла только одного – и притом совершенно для нее нежелательного – результата, а именно: выказала повальное оскудение псовых талантов.

Не раз завистливые барбосы и в одиночку, и небольшими стайками собирались во двор купца Воротилова, садились поодаль и вызывали Трезорку на состязание. Поднимался несоветимый собачий стон, который наводил ужас на всех домочадцев, но к которому хозяин дома прислушивался с любопытством, потому что понимал, что близко время, когда и Трезору понадобится подручный. В этом неистовом хоре выдавались голоса недурные; но такого, от которого внезапно заболел бы живот со страху, не было и в помине. Иной барбос выказывал недюжинные способности, но непременно или перелает, или недолает. Во время таких состязаний Трезорка обыкновенно умолкал, как бы давая противникам возможность высказаться, но под конец не выдерживал и к общему стону, каждая нота которого свидетельствовала об искусственном напряжении, присоединял свой собственный свободный и трезвенный лай. Этот лай сразу устранял все сомнения. Заслышав его, кухарка выбегала из стряпушей и ошпаривала коноводов интриги кипятком. А Трезорке приносила помоев.

Тем не менее купец Воротилов был прав, утверждая, что ничто под луною не вечно. Однажды утром воротиловский приказчик, проходя мимо собачьей конуры в амбар, застал Трезорку спящим. Никогда этого с ним не бывало. Спал ли он когда-нибудь – вероятно, спал, – никто этого не знал, и во всяком случае никто его спящим не заставал. Разумеется, приказчик не замедлил доложить об этом казусе хозяину.

---

<sup>3</sup> По собственному побуждению (лат.)

<sup>4</sup> Масонский знак – то есть знак принадлежности к масонскому религиозно-мистическому движению, распространенному в Европе в XVIII веке, а в России в первой половине XIX века. Масоны в России считались политическими вольнодумцами и преследовались правительством.

Купец Воротилов сам вышел к Трезорке, взглянул на него и, видя, что он повинно шевелит хвостом, как бы говоря: «И сам не понимаю, как со мной грех случился!» – без гнева, полным участия голосом сказал:

– Что, старик, на кухню собрался? Стара стала, слаба стала? Ну ладно! ты на кухне службу сослужить можешь.

На первый раз, однако ж, решились ограничиться приисканием Трезорке подручного. Задача была нелегкая; тем не менее после значительных хлопот успели-таки отыскать у Калужских ворот некоего Арапку, репутация которого установилась уже довольно прочно.

Я не стану описывать, как Арапка первый признал авторитет Трезорки и беспрекословно ему подчинился, как оба они подружились, как Трезорку с течением времени окончательно перевели на кухню и как, несмотря на это, он бегал к Арапке и бескорыстно обучал его приемам подлинного купеческого пса... Скажу только одно: ни досуг, ни обилие сладких кусков, ни близость Кутьки не заставили Трезорку позабыть те вдохновенные минуты, которые он проводил, сидючи на цепи и дрожа от холода в длинные зимние ночи.

Время, однако ж, шло, и Трезорка все больше и больше старелся. На шее у него образовался зоб, который пригибал его голову к земле, так что он с трудом вставал на ноги; глаза почти не видели; уши висели неподвижно; шерсть свалялась и линяла клочьями; аппетит исчез, а постоянно ощущаемый холод заставлял бедного пса жаться к печке.

– Воля ваша, Никанор Семеныч, а Трезорка начал паршиветь, – доложила однажды купцу Воротилову кухарка.

На этот раз, однако, купец Воротилов не сказал ни слова. Тем не менее кухарка не унялась и через неделю опять доложила:

– Как бы дети около Трезорки не испортились... Опаршивел он вовсе.

Но и на этот раз Воротилов промолчал. Тогда кухарка через два дня вбежала уже совсем обозленная и объявила, что она ни минуты не останется, ежели Трезорку из кухни не уберут. И так как кухарка мастерски готовила поросенка с кашей, а Воротилов безумно это блюдо любил, то участь Трезоркина была решена.

– Не к тому я Трезорку готовил, – сказал купец Воротилов с чувством, – да, видно, правду пословица говорит: собаке – собачья и смерть... Утопить Трезорку!

И вот вывели Трезорку на двор. Вся челядь высыпала, чтоб посмотреть на предсмертную агонию верного пса; даже хозяйские дети окно обсыпали. Арапка был тут же и, увидев старого учителя, приветливо замахал хвостом. Трезорка от старости еле передвигал ногами и, по-видимому, не понимал; но когда начал приближаться к воротам, то силы оставили его и надо было его тащить волоком за загривок.

Что затем произошло – об этом история умалчивает, но назад Трезорка уж не возвратился.

А вскоре Арапка и совсем изгнал Трезоркин образ из сердца купца Воротилова.

## Ворон-челобитчик

Всё сердце у старого ворона изболело. Истребляют вороний род: кому не лень, всякий его бьет. И хоть бы ради прибытка, а то просто ради потехи. Да и само воронье измалодушничалось. О прежнем вещем карканье и в помине нет; осыплют вороны гурьбой березу и кричат зря: «Вот мы где!» Натурально, сейчас – паф! – и десятка или двух в стае как не бывало. Еды прежней, привольной, тоже не стало. Леса кругом повырубали, болота повысушили, зверье угнали – никак честным образом прокормиться нельзя. Стало воронье по огородам, садам, по скотным дворам шнырять. А за это опять – паф! – и опять десятка или двух в стае как не бывало! Хорошо еще, что вороны плодущи, а то кто бы кречету, да ястребу, да беркуту дань платил?

Начнет он, старик, своих младших собратий увещевать: «Не каркайте зря! не летайте по чужим огородам!» – да только один ответ слышит: «Ничего ты, старый хрен, в новых делах не смыслишь! нельзя, по нынешнему времени, не воровать. И в науке так сказано: коли нечего тебе есть, так изворачивайся. И все так нынче живут: дела не делают, а изворачиваются. Пропадать, что ли, нам! Мы еще где до свету встанем, снимемся с гнезд и весь лес обшарим – везде хоть шаром покати. Ни ягоды лесной, ни пичуги малой, ни зверя упалого. Даже червь, и тот в землю зарылся».

Слышит старый ворон эти речи и глубокую думу думает. Трудные бывали на его памяти времена. Целыми годами преследовала вороний род бескормица; без числа воронье погибало. Но тогда было правило: есть у тебя когти – рви ими свою грудь, а на чужой кусок не зарься! Однако и тогда уж было приметно, что недолго воронье эту школу выдержит. Смотреть, как другие живут припеваючи, а самому добровольно умирать с голода – от одного этого хоть чье хочешь сердце изнает.

И наука, кстати, на помощь пришла: клюй, что можешь и где можешь! Удастся набить зоб – летай на свободе сытый и веселый; не удастся – виси простреленный на огороде, вместо чучела. На то война.

Когда принес его сюда, едва оперившегося, старый батько из-за тридцати морей, места здесь были вольные. Лес да вода – и глазом не окинешь. В лесу всякой ягоды, всякого зверя, птицы – всего вдоволь; в воде рыба кишмя кишела. Начальником и тогда у них был, как и теперь, ястреб, но тогдашний ястреб и сам по себе был по горло сыт, да и прост был, так прост, что и до сих пор об его простоте анекдоты ходят. Любил, правда, молоденькими воронятами полакомиться, но и тут справедливость наблюдал: сегодня из одного гнезда унесет вороненка, завтра из другого; а ежели видит, что гнездо бедное, упалое, так и безо всего улетит. И подати тогда были не тяжелые: по яйцу с гнезда, да по перу с крыла, да с каждых десяти гнезд по вороненку орлу в презент. Отбыл повинность – и спи на оба уха.

Но чем дальше шло, тем глубже и глубже все изменялось. Облюбовал вольные места человек и начал с того, что пустил в ход топор. Леса поредели, болота стали затягиваться, река обмелела. Сначала по берегу реки появились заимки, потом деревни, сёла, помещицьи усадьбы. Стук топора гулким эхом раздавался в глубинах лесных, нарушая обычное течение жизни зверей и птиц. Старейшины вороньего племени уже тогда предсказывали, что грозит что-то недоброе, но молодое воронье с веселым карканьем кружилось около человеческих жилищ, словно приветствуя пришельцев. Строгие заветы предков наскучили молодым сердцам; лесные глубины опостытели. Потребовалось новое, диковинное, неизведанное. Воронье разделилось на партии; начались пререкания, усобицы, рознь...

Одновременно с этими изменениями произошли изменения и в высших орнитологических сферах. Старый ястреб оказался стоящим не на высоте своей задачи. Он мог управлять только при патриархальных порядках, но когда отношения усложнились, когда на каждом шагу

в воронье существование врывались новые элементы, административное чутье окончательно его покинуло. Главные начальники называли его старым колпаком; воронье оспаривало его власть и бесцеремонно каркало ему в уши всякую чепуху. Он же, вместо того, чтоб пресечь зло в самом корне, только благосклонно хлопал глазами и шутя говорил: «Вот уж, придет реформа, узнаете вы, как кузькину мать зовут!» Наконец и ожидаемая реформа пришла. Старика сдали в архив, а прислали вместо него начальником совсем молодого ястреба, да в помощь к нему, в видах пушного контроля, поставили кречета.

Прилетели новые начальники и сказали вороньему племени немилостивое слово. «Я вас к одному знаменателю приведу!» – «цыркнул ястреб, а кречет прибавил: „И я тоже“. Сказавши это, объявили, что отныне налоги увеличиваются против прежнего втрое, выдали окладные листы и улетели.

Началось окончательное разорение. Воронье роптало: „Налоги установили немилостивые, а новых угодьев не предоставили!“ – раздавалось по лесу; но ни ястреб, ни кречет не внимали жалобам воронья и посылали копчиков ловить смутьянов, которые зря пустые речи в народ пушают. Много было тогда гнезд разорено, много вороньего племени в плен уведено и отдано на съедение волкам и лисицам. Думали, что воронье, испугавшись, на хвосте дани принесет. Но воронье от испуга только металось и жалобно каркало: „Хоть режьте, только стреляйте, а даней нам взять неоткуда!“

Так оно и посейчас идет: воронье разоряется, а казна не наполняется. Что и добудет ворона на стороне, и то копчик на пути отнимет. Словом сказать, хуже нельзя. Надумало было воронье новых мест искать и летунов вперед для разведок отправило, но они улететь – улетели, а назад не воротились. Может быть, заблудились, может быть, по пути копчики задавили, а может быть, и сами собой с голоду погибли. Да и шутка сказать – с насиженных мест неведомо куда лететь! Нет нынче вольных мест! всюду проник человек! И ему тесно стало. Идет вперед с топором; стонут леса, бегут звери, а он с утра до вечера корчует пни, расчищает пашню, рубит избу, а ночью дрожит в землянке от холода и голода в ожиданье, когда-то вся эта сутолока в порядок придет.

Думал-думал старый ворон и наконец надумал: „Надо лететь всю правду объявить“. Только стар он и слаб – долетит ли? Ведь лететь – дорога не близкая. Сначала надо ястребу челом бить, потом кречету, а наконец и к коршуну, который в ту пору вороньим племенем, вроде как начальник края, правил.

У птиц тоже, как и у людей, везде инстанции заведены; везде спросят: „Был ли у ястреба? был ли у кречета?“, а ежели не был, так и бунтовщиком, того гляди, прослынешь.

Наконец, однако ж, снялся ранним утром с гнезда и полетел. Видит, сидит ястреб на высокой-высокой сосне, уж сытый, и клюв когтями чистит.

– Здравствуй, старче! – приветствовал его ястреб благодушно, – зачем пожаловал?

– Прилетел я к твоему степенству правду объявить! – горячо закаркал старый ворон, – гибнет вороний род! гибнет! человек его истребляет, дани немилостивые разоряют, копчики донимают... Мрёт вороний род, а кои и живы – и тем прокормиться нечем.

– Вот как! А не от нерадивости ли вашей все эти беды на вороний род опрокинулись?

– Сам ты знаешь, что нерадивости в нас нет. С утра до ночи мы шарим и корму доглядываем. Живем в трудах, как честному воронью жить надлежит, только добыть что-нибудь честным образом невозможно стало.

Ястреб на минуту задумался, словно не решался настоящее слово выговорить, но наконец сказал:

– Изворачивайтесь!

Однако решение это не удовлетворило, а только пуше взволновало ворона.

– Знаю я, что нынче все изворотами живут, – горячо ответил он, – да прост на это наш вороний род. Другие миллионы крадут, и все им как с гуся вода, а ворона украдет копейку – ей

за это смерть. Подумай, разве это не злодейство: за копейку – смерть. А ты еще учишь: „Изворачивайтесь!“ Прислан ты к нам начальником, чтоб защищать нас от обид, а явился первым разорителем и угнетателем! Доколе мы будем терпеть? Ведь ежели мы...

Ворон не договорил и испугался: не легко, видно, правду-то объявлять.

Но ястреб, как сказано было выше, был сыт и смотрел на незваного гостя благодушно.

– Знаю, не договаривай, – сказал он, – давно мы эту песню слышим, да покуда бог еще миловал... А ты все-таки на ус себе намотай: прилетел ты ко мне правду объявить, да на первом же слове и запнулся... Все ли ты сказал?

– Все покамест, – отвечал ворон, продолжая робеть.

– Ну, так я тебе вот что отвечу: правда твоя давно всем известна; не только вам, воронам, а и копчикам, и ястребам, и коршунам. Только не ко двору она в наше время пришлась, а потому, сколько об ней ни объявляй, хоть на всех перекрестках кричи, – ничего из этого не выйдет. А когда наступит время, что она сама собою объявится, – этого покуда никто не знает. Понял?

– Понял я одно: что вороньему роду конец пришел! – с горечью ответил ворон.

– Ну, коли не понял, давай разговаривать. Говоришь ты, что человек вас истребляет, – но разве можем мы, птицы, против человека идти? Человек порох выдумал – а мы чем на это ответить можем? Выдумал человек порох – и палит в нас, что вздумается, то над нами и делает. Мы все равно что мужики: со всех сторон в них всяко палят. То железная дорога стрельнет, то машина новая, то неурожай, то побор новый. А они только знай перевертываются. Каким-таким манером случилось, что Губошлепов дорогу заполучил, а у них после того по гривне в кошеле убавилось – разве темный человек может это понять? А дело-то простое: Губошлепов порох выдумал, а мужики, ровно черви, только в навозе копать умеют. А ежели ты червь, так и живи, как червю жить подобает. Червю и вы, вороньё, потачки не даете, – вспомни-ка! что если б он на вас гвалт поднял, не вы ли бы первые удивились: „Червь, мол, ползущий, а тоже разговаривает!“ Так-то, старче! Кто одолеет, тот и прав. Понял теперь?

– Погибать, значит, надо? Ах, какое жестокое ты слово сказал! – затосковал ворон.

– Жестоко ли мое слово, или не жестоко, не в том суть, а в том, что и я правды от тебя не утаил. Не той правды, которой ты ищешь, а той, которую, по нынешнему времени, всякий в расчет принимать должен. Но будем продолжать разговор. Ты говоришь, что копчики корм у вас на лету отнимают, что я сам, ястреб, ваши гнезда разоряю, что мы не защитники ваши, а разорители. Что ж: вы кормиться хотите – и мы кормиться хотим. Кабы вы были сильнее – вы бы нас ели, а мы сильнее – мы вас едим. Ведь это тоже правда. Ты мне свою правду объявил, а я тебе – свою; только моя правда воочию совершается, а твоя за облаками летает. Понял?

– Погибать, погибать надо! – продолжал твердить старый ворон, почти не сознавая действительного значения Ястребовых речей, но инстинктивно чувствуя, что они заключают в себе нечто неслыханно жестокое.

Ястреб оглянул челобитчика с головы до хвоста, и так как был сыт, то захотелось ему пошутить над стариком.

– А хочешь, я тебя съем! – сказал он; но, увидев, что ворон инстинктивно сделал скачок назад, продолжал, – ну тебя! тощ ты и стар – какая это еда! Ну-тка, распахни-ка жилет!

Ворон распустил крылья и сам удивился: кости да кожа, ни пуху, ни перьев нет – волк голодный, и тот на такую птицу не позарится.

– Вот видишь, каков ты стал. А все оттого, что о правде думаешь. Кабы ты по-вороньи, без думы, жил – такой ли бы ты был! А впрочем, пора и кончить. Жалуешься ты еще, что поборы с вас, воронья, немилостивые берут, – и это правда. Но подумай: с кого же брать? Воробы, синицы, чижи, зяблики – много ли они могут дать? рябчики, глухари, стрепета, дятлы, кукушки? – эти живут каждый сам по себе, их и днем с огнем не отыщешь. Одно вороньё живет обществом, как настоящие мужики, и притом само о себе непрестанно возглашает –

что же удивительного, что оно в ревизские сказки попало? А коли попал в ревизские сказки – держись! Если же в последнее время и впрямь сборы тяжелее прежнего стали, то, стало быть, так нужно. Потребностей больше – и сборов больше: это хоть кого хочешь спроси. Так-то вот, старче. Ты правду сказал, и я правду сказал; а чья правда крепче – на это отвечает ваше воронье житьё. Ну, а теперь лети восвояси, а я вздремнуть хочу.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.